Ночью нет ничего страшного

Юрий Маркович Нагибин

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Воспоминания Юрия Нагибина о Генрихе Нейгаузе опубликованы издательством КЛАССИКА-XXI в сборнике воспоминаний о выдающемся музыканте и педагоге.

- Юрий Маркович Нагибин

Юрий Маркович Нагибин
Ночью нет ничего страшного

Как снежок заводил кавардак гоголек,
Непонятен-понятен, невнятен, запутан, легок.

О. Мандельштам. «Андрею Белому»

Я всегда завидовал людям, умеющим писать воспоминания. За последнее время мне попалось несколько сборников, посвященных писателям, которых я близко знал. И мне предлагали поделиться своими воспоминаниями о них, но я отказывался, за что навлек упреки в равнодушии, душевной сухости и лени. На самом деле тут было прямо противоположное: слишком сильно — порой до болезненности — ощущал я этих людей при жизни, что мешало работе наблюдения и запоминания. И еще — органическое отсутствие во мне той бытовой, уютной ноты, что считается необходимой для воспоминательной литературы.

Стараясь понять свою незадачу, я вчитывался в воспоминания о Юрии Карловиче Олеше. В целом сборник оставляет ощущение верхоглядства, но в отдельных очерках есть точные, даже глубокие наблюдения, остроумие, изящество, напоминающие литературный и жизненный стиль Олеши, — мемуаристы изо всех сил, порой небезуспешно, тянулись за славной тенью. Вместе с тем меня томило чувство, что, за редчайшим исключением, никто из них не любил его по-настоящему и уж во всяком случае не дрожал над горестной, надломившейся на полдороге судьбой. Может быть, поэтому все так хорошо запомнили его словечки, шутки, подробности поведения, житейскую шелуху личности. Нередко в трезвом прищуре зрится острый, приметливый, порой очарованный, но никогда не зачарованный зрак. Вот я и договорился до того, что понял свою незадачу в качестве мемуариста: я смотрел на него зачарованным взглядом, как на Пастернака, Платонова, Зощенко, Конёнкова, Фалька, о которых тоже не смог написать.

Лишь раз я легко и естественно принял участие в сборнике воспоминаний, посвященных знаменитому, радостно талантливому писателю, и хотя встречался с ним куда реже,

нежели с Олешей или Платоновым, вспомнил немало такого, что не задержалось в памяти других мемуаристов. Близ него мое сознание не туманилось, шла обычная работа внимания и памяти, позволяющая мне быть писателем.

Генрих Густавович Нейгауз принадлежал к числу тех, в присутствии которых меня расшибало громом, как говорят сицилийцы. Слишком значительным оказалось его появление в моей жизни.

Мне уже доводилось рассказывать, как сложно соединился я с музыкой, ставшей для меня третьей необходимостью после литературы и живописи. Немилостивая судьба отказала мне в музыкальном слухе; друзья уверяют, что я лишен не слуха, а способности воспроизвести мелодию, которую слышу таинственным внутренним ухом — где оно, интересно, находится? В музыку меня втащил Лемешев, на котором я тяжело помешался, но очень долго моя тугоухая душа отзывалась лишь пению. Инструментальную музыку я не слышал.

В каком-то из 30-х годов в Доме писателей — старое название ЦДЛ — состоялся концерт замечательного, выдающегося, прославленного и вовсе мне неведомого пианиста Генриха Нейгауза. Выступал он в Москве после долгого перерыва, что придавало известную сенсационность концерту, наверное всосавшему меня, писательского сынка, в Дубовый зал, тогда еще концертный, а не пиршественный.

Хорошо помню свое удивление, что великий музыкант оказался крошечного роста, что держался он до надменности строго, а глаза у него были сердитые, словно собравшиеся в чем-то виноваты перед ним. Сколько я потом ни видел Нейгауза — на сцене, в домашней обстановке или в гостях, — всегда пленяли его раскованность, легкость, изящная свобода движений и расположенность к окружающим. Почему он предстал в панцире настороженности и высокомерия, не знаю. Возможно, он отвык от Москвы и москвичей, не был уверен в приеме аудитории, которую в ту пору артисты вообще считали неблагодарной. Но дело не в настроении пианиста, а в музыке.

Я не помню программы, помню лишь, что было много Шопена, был Бетховен, Шимановский. Я слушал все равнодушно, с усиливающейся скукой, когда вдруг меня постигло нечто похожее на потрясение Шарля Свана, впервые услышавшего сонату Вентейля, вернее, одну ее фразу, что-то перевернувшую в разочарованном баловне Сен-Жерменского предместья. Он почувствовал возможность иной жизни и новой, великой любви, еще неведомой искушенному в страстях сердцу. И когда появилась Одетта де Креси, похожая на Боттичеллиеву Сепфору,

она словно заполнила своим узким телом уже готовую форму, вылепленную сонатой Вентейля. Вот эта фраза: «Медленным ритмическим темпом она вела его сначала одной своей нотой, потом другой, потом всеми, к какому-то счастью — благородному, непонятному, но отчетливо выраженному. И вдруг, достигнув известного пункта, от которого он приготовился следовать за ней, после небольшой паузы, она резко меняла направление и новым темпом, более стремительным, дробным, меланхоличным, непрерывным и сладостно-нежным, стала увлекать его к каким-то безбрежным неведомым далям».

Хорошо, и все же даже несравненному описательному дару Пруста не удалось создать литературный эквивалент дивной сонатной фразы. Так что оставим в покое три ноты Шопена, подсказавшие непробудившемуся еще сердцу подростка, какие страшные и сладостные бездны ждут его впереди. Тем более что важнее другое: тут впервые обнаружилась та странная, загадочная мембрана, которая вопреки обкорнанному слуху дала мне наслаждение музыкой, пусть всего тремя нотами. Но теперь я знал, что есть недоступный мне дотоле волшебный мир.

Я считал, что отомкнуть его можно лишь полуфразой сонаты Шопена, но ключ оказался потерян. У меня не было денег ни на пластинки, ни на билеты в консерваторию, а черная тарелка репродуктора дребезжала иными звуками. И я перестал искать. Осталась лишь память о сердитом миниатюрном человеке, подарившем мне пронзительную мимолетность. Я прочел Пруста раньше, чем снова встретил Нейгауза, и мои три ноты еле слышно звучали где-то в стороне Свана.

Прошло много лет, когда в гостеприимном доме Асмусов я познакомился с Генрихом Густавовичем Нейгаузом. На воскресном обеде присутствовали близкие друзья дома: Пастернаки, Сельвинские, одинокий старый Локс и пришедшие чуть позже Нейгаузы.

Этот приблизившийся к глазам Нейгауз не имел ничего общего с суровым виртуозом тех давних дней. Живой, легкий, летучий, он, едва появившись, сразу озонировал воздух, отягощенный, как в предгрозье, дурным настроением Зинаиды Николаевны Пастернак, чья обычная хмурость усугублялась тревогой за здоровье старшего сына Адика. Нервные шоки шли от показного самоуверенного Сельвинского. Он чувствовал охлаждение Бориса Леонидовича, который еще недавно связывал с ним большие надежды, а сейчас щедро отвел ему первое место среди поэтов, ничуть его не интересующих.

Появление Нейгауза как-то странно объединило присутствующих через разъединение. Исполнив крайне

дружелюбно и радостно приветствия, он полностью сосредоточился на Пастернаке. Это отвлекло Зинаиду Николаевну от недоброго пригляда за мужем и дало возможность Сельвинскому спустить пары в споре с Локсом, хозяин дома играл тут роль буфера, смягчающего ошибки. Дамы тоже завели свой особый разговор.

Тульский пряник сперва разглядывают и уж потом надкусывают. И Генрих Густавович, закинув голову, некоторое время лицезрел чуть заметавшегося от этого молчаливого внимания Пастернака, затем как клюнул коротким вопросом.

Представленный Генриху Густавовичу, не обратившему на меня внимания — подобно Лескову, он был равнодушен к неизвестным величинам, — я уже хотел тихо ретироваться, как вдруг услышал имя Андрея Платонова, а вслед за тем — взрыв восторженных похвал. В ту пору не было для меня никого дороже, да так оно, пожалуй, и осталось. Высокая костлявая фигура творца «Епифанских шлюзов», дружившего с отчимом и матерью, не раз отражалась в зеркальной дверце нашего громоздкого платяного шкафа, лишившего нас половины жилплощади; я всегда смотрел на «зеркального» Платонова, ибо материальный его образ был непосилен моей влюбленной душе.

Меня потрясло, что Пастернак и Нейгауз так любят Платонова и «открывают» им свою встречу. В ту пору Платонова удручающе плохо знали даже в литературной среде, к тому же я не умел связывать разнородные явления культуры «в единый клуб». Продолжу по Заболоцкому: незрелая мысль была бессильна объединить два несхожих таинства бытия.

Андрей Платонов с его чисто русской, крестьянско-мастеровой маятой казался несовместимым со сложным дачно-городским миром Пастернака (мне невдомек было, что оба пребывают не в уезде и на полустанке, а в вечности); и уж подавно был я убежден, что страсти по Платонову не имеют никакого отношения к страстям по Шопену или Бетховену. Ан нет, прямое отношение имели друг к другу утонченные московские люди, ведавшие «дыхание почвы и судьбы», и воронежец с костлявым телом пахаря, лицом рабочего и челом мыслителя, не менее их искушенный в культуре. Приверженность Платонова к русской сути не мешала ему пропускать через себя даже такие органически чуждые явления, как Шпенглер или Вейнингер, ибо в области духа он не признавал ни пространственных, ни временных ограничений. Человечество и вечность были для него реальностью, он признавал певцов мировой, а не районной скорби.

Платонов продолжал управлять беседой небожителей. Сейчас

они восторгались рассказом «Фро» о страшном одиночестве покинутой любимым всего лишь на миг молодой женщины.

— Она же дура! — кричал Нейгауз. — Но ewig weibliche!.. (Вечно женственна (нем.).

— Для него нет табу!.. — трубил Пастернак, улыбаясь огромной улыбкой доброго людоеда.

В ту пору он еще обходился собственными, очень длинными, рвущимися из-за губ желтыми зубами. Со вставными челюстями придет поздняя красота, которая и станет для потомков единственной внешностью Пастернака. В. Розанов говорил, что каждый человек в определенном возрасте оказывается словно бы наведенным на фокус: контуры личности совпадают с наружными контурами — это и есть он настоящий. Поэтому, глядя на фотографии, можно сказать: это еще не Чехов, это уже не Бунин. Мандельштам сфокусировался в ранней молодости, Анна Ахматова — на половине жизненного пути, Пастернак — в пожилом возрасте. По-моему, старость придала завершенность облику Нейгауза. Тут, кстати, человек порой бессознательно помогает природе: Пастернак обновил рот, а Нейгауз окутал голову густой и летучей сединой. Пока еще оба находились на подступах к своей окончательной внешности.

— А какую прелестно-бессмысленную песню поют затейники из кондукторского резерва! — радовался Нейгауз.

— Он сам ее придумал. Платонов начинал как поэт. Да и потом писал стихи.

— Хорошие?

— От них пахло Платоновым. Но все портила натужность талантливого самоучки.

— «Вопли Видоплясова»? — засмеялся Нейгауз.

— Господь с тобой, Гаррик! — Добрый людоед обнажил пасть, будто прося на каждый длинный зуб по стихотворцу-самоучке. — Платонов во всем талантлив. Но ученичество ему не к лицу, в прозе он сразу стал мастером.

— Ты хорошо его знаешь?

Нейгауз задавал вопросы отрывистым тоном, словно спешил; отвечая же, скорее тянул, как бы примериваясь к наиболее точному ответу. Впрочем, когда им владело чувство, он словно в упор расстреливал собеседника.

— Он бывает у меня. А знать?.. Ты знаешь кого-нибудь хорошо?

— Конечно. Я знаю тебя.

— Какой ты счастливый! Я себя совсем не знаю.

— О чем вы разговариваете?

— Ну… не знаю…

— Как, ты и этого не знаешь?

— Да нет… — тянул Пастернак; интеллектуальная и душевная честность мешали ему говорить приблизительно о важном. — Ну Гаррик, чего ты меня допрашиваешь?.. Мы говорим о судьбе, о смерти, о паровозах…

— Что ты понимаешь в паровозах?

— Я — ничего. Платонов понимает. Он паровозник и мелиоратор. Он не считает паровоз машиной. Паровоз — это печь на колесах, а печь — ядро жилья. Паровоз весь горячий, он дышит и требует ухода, как домашняя скотина.

— Так что же паровоз — изба или животное?

— Ни то ни другое. Он никогда не говорит расхожих банальностей… Вот, вспомнил! Какой-то новатор хвастался, что перед рейсом всегда подкрашивает паровоз: там красную красочку положит, там желтую, там голубую. Платонов слушал, слушал, а потом сказал: вот еще одну красочку положишь, и паровоз вовсе не пойдет.

Нейгауз счастливо захохотал.

— Это гораздо глубже, чем кажется… Я видел его однажды. У него великолепный череп. Какое чело! — И Нейгауз сказал примерно те же слова, какими позже воспоет наисовершеннейший череп своего гениального ученика.

— Он замечательный писатель и замечательный человек! — от души сказал Пастернак, довольный, что его перестали пытать по части техники.

— Мне очень близко то, что ты говорил о паровозах…

— Я ничего не говорил, — перебил Пастернак. — Это Платонов.

— Неважно. Я с детства люблю паровозы. Они правда дышат, отдуваются, в конце долгого пути с них течет масло, как пот. В ночи они извергают пламя. Они испытывают жажду, требуют насыщения, у них есть характер, личность, не бывает одинаковых паровозов. Мне ужасно не хочется, чтобы их вытеснили безликие электрички. И потом — про паровоз все понятно, это не то что страшный и загадочный телефон. — Нейгауз передернул плечами.

— Телефон, конечно, непостижим, — согласился Пастернак. — Но ведь не смущают же нас потусторонние голоса?

— Ну, это другое дело… — И без связи с предыдущим Нейгауз медленно, словно разбирая буквочки на таблице в глазном кабинете, проговорил: — «…Ночью поют одни добрые, кроткие сверчки, квакают лягушки в запруде и сопит бык, ночующий в скотном сарае, — и нет ничего страшного».

— «Июльская гроза»! — узнал Пастернак.

— И рядом с этим конец из «Епифанских шлюзов». — Генрих Густавович сощурился, будто разбирал последнюю, самую мелкую строчку таблицы. — «„Где ж твой топор?“ — спросил Перри… „Топор! — сказал палач. — Я без топора с тобой управлюсь!“ Резким…» — Но последняя мелкота оказалась недоступной его глазам. И тут настала моя минута:

— «Резким рубящим лезвием влепилась догадка в мозг Перри, чуждая и страшная его природе, как пуля живому сердцу».

Взгляд Нейгауза впервые сосредоточился на мне. Я увидел себя в его зрачке, странно светлом, серебристом — в цвет высшего качества зернистой икры; я был там одутловатым, распухшим в щеках, суженным вверху черепом, как в кривом зеркале «комнаты смеха» (хотелось думать, что он видит меня не таким). Как бы то ни было, я отделился от фона, обрел для него самостоятельное существование.

— Еще один неоплатоник! — засмеялся Нейгауз. — «Наступил вечер; комната остыла, потускнела и наполнилась…» Ну, в эти игры меня не переиграть:

— «…воздыханием неясных лучей тайного и захолустного неба».

— Браво! — восхитился Нейгауз. — А это помните? «Мне наскучило любить лошадей и прочих животных, и я…»

— «…ищу любви у более субтильного существа — женщины».

Мы долго перебрасывались кусками прозы Андрея Платонова.

— А это помните?..

— А это помните?..

— Что вы — как попугайчики? — со своей опасной белозубой улыбкой сказала хозяйка дома. Если б у меня был другой собеседник, если бы за нашей игрой не следил, добро и заинтересованно, кумир дома, слово «попугай» прозвучало бы не в уменьшительной форме на сахарных устах моей будущей тещи.

— Это самый лучший, самый чистый способ говорить о литературе! — вскинулся Нейгауз.

— Только так можно найти собрата, — добавил Пастернак.

Любопытно, что лет через десять, в ином историческом времени, после войны, мы предавались той же игре с любимым учеником Генриха Густавовича — Святославом Рихтером, но черпали из другой сокровищницы — Марселя Пруста.

— А знаешь, — вспомнил Пастернак, — Платонов сказал, что мужская несостоятельность — такой же мощный источник поэзии, как любовь. В смысле, конечно, не стихоплетства, а богослужения.

— Это звучит ободряюще, — с серьезным видом заметил Нейгауз. — Но — примеры?..

— Письма Абеляра к Элоизе, стоящие всей его схоластики,

«Повторения» и многое другое у Кьеркегора.

— Абеляр — понятно, а что случилось с Кьеркегором?

— Ну, Гаррик!.. Почему он уступил свою невесту Шлегелю?

— Уступил?.. Кто бы мог подумать!..

— Он сокрушался, что не нашел в себе веры Иова, наоравшего на Господа и получившего назад здоровье, богатство и всех своих мертвецов.

— В чем сплоховал Кьеркегор?

— Не притворяйся, Гаррик, ты прекрасно знаешь, что он потерпел фиаско со своей невестой. Просить Бога о невозможном значит верить в его всемогущество. Но Кьеркегор не возопил к небу, поставил крест на реальностях любви и принялся творить новые химеры. В чем и преуспевал до конца дней.

— Откуда твой паровозник знает Кьеркегора?

— Но он же еще мелиоратор.

Я догадался наконец, что это игра. Это был театр для самих себя. Постороннему зрителю не распутать клубка намеков, старых розыгрышей и счетов, шутливых подколов, истинных преодолений, без которых не обошлась эта необыкновенная дружба. И впоследствии я не раз наблюдал их милую игру, где каждый поочередно был то простаком, то ворчуном-резонером.

За столом Сельвинский прочел свое новое стихотворение «Тигр», удивительно пластичное и упругое. Оно всем понравилось, даже ворчуну Локсу, пробормотавшему что-то о молодых, которые «могут, когда не ломаются». Пастернак ничего не сказал, и в этом была жестокость, но не прямая, а жестокость самопогруженности, не позволившей ему, в чем он на склоне дней сам признался, оценить по достоинству современных русских поэтов, за исключением Блока.

Слишком серьезная жизнь с собою, пребывание в собственных безднах принуждали его выбирать из внешнего мира лишь то, что было нужно ему самому: в человеческих отношениях, музыке, живописи, прозе, иноязычной поэзии. В новой русской поэзии он не нуждался, место было занято классиками и проговариванием рождающихся строк. Он мог иной раз шумно восхититься чьими-то стихами — из сострадательного безразличия. Но Сельвинский в сострадании не нуждался, и Борис Леонидович не заметил его стихов с тем же хладнокровием, с каким откладывал в сторону книжки Ахматовой с дарственной надписью. Анна Андреевна утверждала, что он почти не знал ее стихов после «Четок», и не обижалась на него. Даже «воронежскому» Мандельштаму не удалось пробить его глухоты; он слышал сорванный голос Цветаевой-друга, а голос Цветаевой-поэта звучал ему, как потерявшийся в степи колокольчик. Эти голоса зазвучали для

него в старости.

Все стали просить Пастернака почитать, он отказался наотрез: ничего не помнит. Тогда дружно накинулись на Генриха Густавовича, чтобы он сыграл. Пастернак трубил вовсю. Я уже подумал, что, может, выпрошу три заветные ноты, но Нейгауз сердито бросил: не хочу! Это была месть Пастернаку.

А когда мы прощались и я пожимал маленькую, очень сильную руку, Нейгауз сказал, заглянув мне в глаза: «Поверим, что ночью нет ничего страшного?» Эта перифраза из Платонова стала паролем наших последующих не слишком частых встреч…

Помню одну молниеносную встречу во время войны, когда начались бомбежки. Я приехал к Нейгаузу с каким-то поручением от моих новых родичей Асмусов. И едва я вошел в квартиру, находившуюся в историческом доме по Садовой (близ Курского вокзала), где жили знаменитые летчики, полярники, музыканты и откуда ушел в смерть Чкалов, как начался налет. Не знаю, насколько опасный, но очень шумный, зенитки лупили так, что мы не слышали друг друга. Долгий, всасывающий пространство свист большой фугаски тоскливо подсказал, что придется спускаться в подвал. В доме Асмусов этот ритуал считался обязательным, и потребовалось все кроткое и неодолимое упрямство моей жены, чтобы нас с ней оставляли наверху.

Когда от взрыва задребезжали, трескаясь, оконные стекла, Милица Сергеевна, маленькая, худенькая, с увядшими волосами и выражением беспечной и всеобъемлющей доброты на терпеливом лице, вскричала голосом вакханки:

— Взлетим на воздух, Гарри! И поставила на стол бутылку портвейна и рюмки.

Мне почудилась тень печали на ясном и, как всегда, оживленном лице Нейгауза.

— За встречу по Швейку. — Он поднял рюмку. — В шесть часов вечера после войны!

— Вы эвакуируетесь?

— Немцам не видать Москвы как своих ушей. Но я должен ехать — Адик на Урале, в больнице… Ехать один, теща нетранспортабельна…

— Езжай, Гарри! — лихо вскричала Милица Сергеевна. — А мы с мамой и дочкой будем прикрывать твой отход.

— О господи! — сказал Нейгауз.

Асмусы наказали мне спросить о Пастернаке: он отправил семью в Чистополь, а сам исчез.

— Мы ездили к нему в Переделкино, — сказал Нейгауз. — Но, похоже, он не слишком обрадовался нашему вторжению. Наслаждается одиночеством, хотя делает вид, что ужасно

замотан. В Москве дежурит на крыше, на даче весь день копает гряды, вечером переводит Шекспира. Бодр, улыбчив, свеж, у него поразительно крепкие руки и сильная грудь. Да, еще он ездит стрелять на полигон и страшно гордится своей меткостью. Он говорит, что всегда считал себя движущейся мишенью, оказывается — заправский стрелок.

А когда мы прощались, Нейгауз задержал мою руку в своей: «Так ночью нет ничего страшного?..»

Вскоре ему дано было это проверить. Мы расстались надолго…

…Памятен мне один разговор, свидетелем которого я оказался лиловым коктебельским вечером, у подножия Карадага. Три пожилых человека говорили о женщинах. Двоих я знал: Нейгауза и члена-корреспондента ныне не существующей Академии архитектуры Габричевского, автора изумительного этюда о загадочном Тинторетто, третьего — с голым, массивным, шишковатым черепом — видел впервые. Он казался мне похожим на виолончелиста Пабло Казальса, о котором я слышал, что он вылитый Пикассо, а этот в свою очередь — копия кинорежиссера Арнштама. Он был из дней киевской молодости Генриха Густавовича, к искусству отношения не имел, то ли археолог, то ли палеонтолог, но не исключено, что геофизик, впрочем, это было нейтрально к предмету беседы. Худой, жилистый, прокопченный солнцем, он заявил о себе как о заядлом холостяке и отчаянном волоките. О, как завидовали ему опутанные браком старые женолюбы!

— Я любил эту женщину, но нам пришлось расстаться. Она не выдерживала моей страсти. Я устал от воплей: «Леонтий, пощади!»

— Она так вопила? — спросил Нейгауз, раздувая усы.

— Именно так, — подтвердил Леонтий.

— От страсти? — прорычал Нейгауз.

— От чего же еще? — небрежничал копченый.

— От страсти еще и не то бывает, — вмешался Габричевский. — Моя дама проглотила зубной протез.

— Твоя дама? — такого удара Генрих Густавович не ожидал. — Когда это было? в прошлом веке?

— Но, Гаррик!.. — Габричевский делал вид, что крайне смущен своим невольным проговором. — Я надеюсь на твою скромность.

— Черт знает что! — вконец расстроился Нейгауз. — Меня окружают старые распутники! Копченый пожалел его:

— Я слышал вчера на литфондовском пляже, что Липочка из филармонии сходит по тебе с ума.

— Липочка? Эта кувалда? — взревел Нейгауз. — Мне по моим заслугам полагается мадам Рекамье, маркиза Дюдефан, Мария Антуанетта!.. — Он задыхался. — Клара Цеткин!..

Самое интересное, что тут не было ни зубоскальства, ни фанфаронства — разрывающая жизненная сила, неисчерпанность, молодость крови и воодушевленная вера в то, что он вполне мог бы составить счастье всех этих дам…

И еще одна встреча.

Это было посреди 60-х, на квартире Святослава Рихтера, когда он жил в Брюсовском переулке, в композиторском доме. Рихтер устроил небольшую домашнюю выставку художника Краснопевцева. Он любил этого одаренного и упрямо чуравшегося спроса художника, который писал одни только камни. Возможно, я ошибаюсь, и художник обращался к другим сюжетам, не только оформляя ради хлеба насущного рекламную страницу «Вечерней Москвы», но от той выставки в памяти сохранились лишь камни. Я не знаю, что сейчас делает Краснопевцев, не исключено, что он изменил своему пристрастию, пошел вширь или избрал новый фетиш. В 60-х годах он не разбрасывался, его аскетическое творчество находило признание у людей, тонко чувствующих живопись; верным почитателем Краснопевцева был Рихтер, сам одаренный художник, одно время всерьез подумывавший о том, чтобы оставить рояль ради холста и кистей.

Краснопевцев не писал драгоценных камней, его привлекали обычные серо-голубые, бурые «беспородные» каменные уломочки. Такие каменюки повсюду валяются на земле, выстилают пляжи кавказского Черноморья, никто и внимания на них не обращает. А Краснопевцев подберет, очистит от пыли и грязи, чтобы вернуть естественный неяркий холодный цвет их твердому телу, положит на лист картона, на тряпку, просто на столешницу, редко вблизости какого-нибудь сосуда или другого нехитрого предмета и зафиксирует с сугубой точностью скромное пребывание неких малостей в мироздании, предоставляя окружающим либо радоваться тому, что они есть, либо печалиться неслиянностью с их сутью. Нет, эти жалкие слова даже не прикасаются к искусству Краснопевцева, но если б его картины можно было «рассказать», значит, они не нужны. Зачем краски и кисти, зачем добавочная мэка, если достаточно расхожих слов?

Художник стоял меж своих картин, приятный молодой человек, молчаливый, как его камни, но еще более скрытный. Камни не скрытничали, они говорили, но язык их был то внятен, как родная речь, то темен, как ночное бормотание природы.

— Вам нравится? — спросил Рихтер.

— Да. Хотя как-то странно, непривычно. Я не был настроен на

эту встречу. И я не понимаю, почему мне это нравится. А вы?

— Красиво!.. — Рихтер засмеялся, обнажив зубы и натянув крепкие жилы шеи; так он смеялся, когда хотел уйти от разговора, что случалось нередко.

Дело не в том, что он держал на запоре свой внутренний мир, а в обостренной духовной щепетильности. Подобно Пастернаку, но еще последовательней он избегал приблизительности, пустого велеречия, имитации глубокомыслия, предпочитая им безобидную банальность и беззащитно-извиняющийся смех.

И тут из боковой комнаты появился чуть заспанный, хотя и освежившийся пахучей струей пульверизатора, какой-то весь подсушившийся и вовсе не заземленный, с реющей сединой Генрих Густавович Нейгауз, окончательно наведенный на фокус. И мне подумалось: вот чем обернулся шутливый взрыв неиссякаемой мужественности в лиловом коктебельском вечере. Генрих Густавович отважно сломал стереотип жизни благостно стареющего посреди любящей семьи виртуоза.

Никто не был на него в претензии, меньше всего домашние, и уж вовсе ничуть — бесконечная в любви и доброте жена. Это не христианское холодное всепрощение, это такая слиянность с любимым, когда не остается места ни ревности, ни обиде, ни уязвленному самолюбию, ни страху перед жалом княгини Марьи Алексевны. Все это слишком мелкие чувства для такого высокого человека, как Милица Сергеевна. Правда, ревность возведена поэтами в генеральский чин, но Карл Юнг сорвал с нее золотые эполеты: «Ядро всякой ревности составляет отсутствие любви».

Долго и трудно умирая, Милица Сергеевна просыпалась каждое утро со счастливой улыбкой.

«Мне приснилось, что Гаррик пришел. Надо прибрать, сегодня он непременно будет». И он появлялся у смертного ложа своей старой подруги, хотя, возможно, не так часто, как обещала ей утренняя улыбка.

— Вам это по душе? — спросил Нейгауз о картинах.

— Да. Но чуточку пустынно. Помните, Платонов писал, что ему одиноко в прозе Пришвина — там только природа и нет человека.

— Я этого не читал. Но в литературе я тоже враг ненаселенного пейзажа. Хотя «Жень-Шень» удивительная книга. Пожалуй, там все же есть человек — автор. И здесь есть человек — Краснопевцев. С тонкой, нежной, стыдливой и непреклонной душой. Он не боится этих камней, не боится вечности.

— Много же вы ему приписали! А если весь фокус в том, что мы сами заполняем вакуум? Это наша работа, а не его.

— Но кто же вынудил вас к ней? Вы были в Японии и,

конечно, видели «философский сад»: зеленый прямоугольник травы и несколько грубых камней. Какой глубокий и бесконечный символ!.. Каждый выносит что-то свое: умиротворение, не житейское, а то, что предшествует чаше с цикутой, если она — добровольно. Или совсем другое — утешение, легкость и тихое желание еще долго пить… ну, как это у Дельвига? — Он нетерпеливо замахал кистью.

— «Когда еще я не пил слез из чаши бытия», — подсказал я.

— Вот, вот! Еще долго осушать эту чашу. Каждый получает свое, но ничего не было бы, если б гениальнейший художник не разбросал по траве несколько камней. И там, и здесь расчет на сотворчество. Искусству это редко удается. Но знаете о чем я сейчас думаю: как мало надо для счастья, если уметь вглядываться. Мы и вообще обделены этим даром, а жизнь так сумбурна, в ней чересчур много всего, и почти все — лишнее. Какое чудо — простой, грубый камень, какое чудо мы сами, если видим его чудо… Все это очень серьезно и… горестно.

— Почему горестно?

— Сами узнаете в свой час. Старый Лев Толстой плакал по каждому поводу, для окружающих — без всякого повода. А ведь он плакал и над ними, не из любви, а потому что жалко терять всех, даже родственников, не говоря уже о чистых, гладких камнях. Откуда это чувство у начинающего жить Краснопевцева?

А потом начинающая жить поэтесса читала стихи о Пастернаке, и Генрих Густавович отирал щеки маленькими руками, умеющими охватывать безмерность клавиатуры. Жалеешь о камнях, а утрата воспоминаний?..

Когда мы прощались в коридоре, он сказал тихо: «А ночью правда нет ничего страшного?»

Больше мы не виделись.

* * *

С той поры прошло много лет. Я уже знаю пронзительное ощущение безмерной ценности всего, что переживет тебя в «прекрасном и яростном мире». И я отираю слезы своими старыми руками, такими же маленькими, как у Нейгауза, но никогда не прикоснувшимися к клавишам.

Оказывается, писать воспоминания совсем не трудно, если не посягать на лавры великого наблюдателя нравов Сен-Симона, а простодушно говорить о себе самом. Люди, правда, почти ничего не узнают о том, кто искусил твою слабую память, зато узнают, в каком хорошем обществе ты вращался.